

«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш. ... Возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои».

(Ис. 40: 1-2)



«Народ - венец земного цвета
Краса и радость всем цветам:
Не миновать Господня лета
Благоприятного - и нам».

А. Блок.

ЖИВОЕ СЛОВО

(Окончание. Начало в № 14)

Всю неделю готовился я к предстоящей ловле. Всего труднее оказалось раздобыть муравьиных яиц. Весна стояла затяжная, и только на самых солнцепеках в пеньковых муравейниках уже появились крупные муравьиные куколки — самая лакомая прикормка для насекомыхных птиц. Я починил лучок¹ и самоловы, сделал клетушку с мягким верхом, чтоб пойманный соловей не побился, достал у товарища обметную сеть².

И вот в полночь мы шагаем по размытой ручьями дороге. В темноте впереди меня бойко семенит Шшмарев, грязь хлюпает под его сапожками. Миновали спящие избы окраины. Влажным ветром толкнуло в лицо: открылось темное ночное поле. Собаки чуть слышно лаяли позади, кричал бессонный паровоз на станции, далекие огоньки мигали там. А впереди ночь. Одинокие березы смутно белеют во мраке, да серебряная россыпь весенних звезд искрится и шевелится высоко-высоко. Свежо и пьяно пахнет оттаявшей землей, молодой травкой, почками и еще каким-то необъяснимо приятным, бодрим и мягким запахом вольного ветра, простора и прохладного сумрака. Вдохнешь до слезы полной грудью ключевой холод ночи и чувствуешь, как разворачиваются плечи, радостно тукает сердце, нервная дрожь пробегает по спине. Славно жить на земле, даже ради единого вздоха!

А дорога виляет и вправо и влево, поднимается на косогор, сбегает в темную ложбину, поросшую щетиной мелкого кустарника. Где-то поблизости нежно журчит вода — остаток апрельского паводка.

Сапоги то шуршат по прошлогодней листве, то смачно чавкают в раскисшем суглинке.

— Эх, мать честна! Здорowo грязь... в логовину-то натекло, — говорит Семеныч, останавливается, трудно дышит. — Однако далеко мы с тобой ускакали. Ффуу. Пристал. Птаха-то эо бьется, колотится... Тебе ладно, молодому... А грязь проклятая так и льнет, так и льнет...

— Далеко еще? — осторожно спрашиваю я, стараясь разглядеть лицо старика.

— Как тебе сказать? Близо вроде. А может, и далеко. Дорога-то, вишь, кривулина на кривулине. Тут ее мерила старуха клюкой да махнула рукой, — шутит Семеныч.

Снова идем, теперь уже напрямик, через кусты и водомоины, и наконец подходим к невысокому перелеску, полого спускающемуся к речке.

— Тут! — переводя дух, говорит старик. — Третьего дня слушал... Дудка у него есть. Этак: «Туу-туу». Протяжно, басовито. А потом как рассыплет дробью, как хлестанет раскатом на перещелк! Душа вон! Отличный соловушка. Голосистый. Впервой такого здесь замечаю.

Прислушиваясь к говору воды в речке, он добавляет:

— У птиц, брат, все одно что у людей. Иной хоть пьяный поет, а так-то радостно, а другой заведет козла грать — ни голосу, ни выносу... В этих местах и раньше бывали добрые соловьи, еще до войны. Перевелись. Прошлые весны я на них ходил. По две ночи сживал. Нет ничего. Стукотня одна, треск. Молодь неумелая. Ну а ноне совсем другой резон.

Семеныч оцупался впотьмах, гос-

тал берестяную скрипучую табакерку, неторопливо закурил. Горючий махорочный дымок и прямо защекотал в носу.

— Посидим пока, до свету. Покурим. А там глянем. Я ему прикормки под куст насыпал. Ежели поклевал — все одно наш бюджет. Соловей — птица умная: где покормится, никогда не забудет.

— А если не тронул?

— Тогда еще гень-другой обожгать придется, — философски ответил Семеныч, усаживаясь на каком-то бревнышке, занесенном, должно быть, полой водой.

Я опустил рядом с ним. Темно и тихо. Чуть булькает речка в объятьях мраком кустов. Звезды лучатся, подмигивают в торжественной высоте призрачно-черного неба.

Мне слышно, как нагсадно ноет грудь, потрескивают корешки махорки, когда Семеныч затягивается цигаркой. Красный свет на секунду освещает его лицо, острый старческий нос. О чем думает старик? Какие мысли, какие думы трогают его? Или вспоминает чего, или думает о будущей охоте, или просто так, беспечно-рассеянный, завороченный тишиной и мраком, ждет рассвета...

А близость утра уже чувствуется. Короткая майская ночь. Глухой мрак сплывая полчасика сменяется редеющей сутемью. Бледная ранняя заря еще неясно, холодно брезжит на северо-востоке, и узкие неподвижные облака над нею вдруг начинают теплиться слабым розовым светом. Ветерок ощупно бродит в кустах. Вот послышались голоса камышевок. Певчий грозд фиолюлюкнул в черной лесной кромке.

— Пора бы ему, — заворочался Семеныч. — Зариться начало. Хо! Во!

Словно в ответ на его слова, чистый, отчетливый звук дрогнул, родился в тишине.

— Фюить, — ясно и мягко сказала невидимая птица. — Фюить, тю! И смолкла.

— Тю... тю-тю... тю-тю. Чип, чип, чип... тюю, тюю...

Соловей запел. Сперва негромко, чисто, спокойно, как будто с сознанием собственной силы. Потом громче, мощнее, громче...

— Уу, уу — Вую, вую, — вдруг басом выистнул он.

Легкая дрожь пробежала по мне. Неужели это птица? Скромная рыжая птичка! Уж не кулалый ли леший, зеленая борода, поет и свистит на своей дыкой гудке в темной чаше голых черемух? Никогда до сих пор не понимал я, не чувствовал всей прелести соловьиного рокота. Что-то удивительно свое, русское, сладко щемящее и печальное было в этих звуках. Очень идет соловьиная песня к ранней заре, к спящим полям, дремлющим перелескам.

Мы слушали. А раскат следовал за раскатом. Рокочущая дробь, и шелканье, и нежные оттолчки шли одна за другой. Вот смолкнет он на чистой грожащей ноте — и слышно тогда журчанье воды, то зальется вдруг с горячей силой, удар за ударом.

— Ах ты, Господи... — услышал я грожащий, тоскливо-восторженный шепот Семеныча. — Ах ты, Господи...

Крупные слезы горохом катились по его лицу, дрожала его жидкая борода, тряслись руки. Стоя на коленях на влажном дерне, он весь подался вперед, бессознательно тянулся туда, навстречу соловьиной песне.

— Семеныч! — прошептал я, дергая его за рукав. — Эй, Семеныч! Давай не будем его ловить! Ну не будем! Жалко. А?... Не выдерживать мне его. Пусть поет себе... Лучше я сюда десять раз снова приду. А, Семеныч?

Старик обернулся. Странно, влажно, молодно глянули его глаза. И, стыдясь непроще-

ного откровения, все еще во власти нахлынувших чувств, он горько сощурился, рукавом потянул по лицу, что-то невнятно пробормотал.

...Обратно шли, когда совсем рассвело. Утро устоялось тихое, ясное. В полях веяло тем особенным, майским теплом, которому радуется все живое после долгих холодов. Дорога посыхала на глазах. Желтенькие цветки мать-и-мачехи задумчиво-ласково смотрели из пробивающейся травы, и обтрепанные, перезимовавшие крапивницы порхали и кружились над ними. Жаворонки, трепеща крыльями, столбиком поднимаясь с комьев влажного пара, терялись в вышине, где легко и неспешно плыли к северу кучевые облака — вестники доброй сухой погоды.

— Вот ты все допытывался, почто соловушек своих я на волю отпускаю, — заговорил дотоль молчавший Семеныч. — Долгая сказка, а скажу я ее тебе. Может, поймешь ты меня...

Рос я в большой семье. Было нас семь человек ребят, мал мала меньше.

Отец мой тоже сапожником был. Суровый мужик, характерный, работяга и пьяница и-их какой! Бывало, сидит день-деньской над колодкой, сплны не разгибает, а снесет работу и ввечеру в кабаке. Напьется. Домой валит и воюет. За волоса да под небеса. Мать боем бил ни за что ни про что, и нам по чем попадая доставалось... Меньшие, те сразу под лавки ползли, а кто на печь. Навоюется, потухнет, съедет в угол в свой и заревет, зальется. Как теперь его вижу: сидит темный весь, как туча снеговая, а слезы-то на верстак кап да кап. Заснет в углу, утром съезнова за работу. И тут уж ты ему тоже не подвертывайся, сопит, зверем зыркает, а то, глядя, и колодкой по башке оденет. В великой нужде мы росли. Один с одного одежонку таскали. Летом — ладно, тепло, а зимой — беда. Огне хурые пимы на четверых... Отец-то так и сплсил на крест. Мать за ним вскоре померла. Болела много... Поотбивал он ей вздоху-то...

Тут Семеныч дернул мочальную бородку, горько прижмурился, глядя под ноги, собираясь с мыслями.

— Остался, значит, мы сиротами. За главных сестра Анисья да я. Что прожить можно — прожили. Анисья на фабрику спичечную к Логинову поступила. Я птиц ловил, отцовским ремеслом сколь мог прирабатывал. Да только починки мало было. Отцу-то едва носили, а мне — малому — кто понесет? Испортит, мол... Так бились мы с хлеба на квас. Только что с голоду не пухли. Много ли Анисья заработку принесет, гроши бабам платили.

Вижу, не проживешь на ее пятаки. Пошел я тогда на завод. Не берут... Накланялся восталь. Потом уж один заказчик отцов — купец Иван Прохорыч — устроил из милости. Сперва-то я в механическом робил, потом - в прокатке. Ой каторга там была! Двенадцать часов в жаре да в огне. Домой приволокешься, как сухарь из печки. Весь сок из тебя за гень вытянет, всю силу вымотает. Пожрать бы только да спать сунуться. А жалованье получишь — считать нечего. Мастеру еще на шкалик, как водится. Не дашь — без работы заморит, штраф с тебя сдерет. Терпели, терпели мы, а в седьмом году забастовали. Весь

Николай Никонов

Соловьи

завод встал. Ну, конечно, сейчас нагнали тут полищии, казаков этих — их в городе всегда две сотни стояло, дьяволов гладких. Свалка здоровая получилась. Потом аресты пошли. И меня взяли. Я хоть не заглавная фигура был, а все-таки двоим полицейским в рыло насо-вал, при стачечном комитете был, в маевках участвовал. И доказал на меня сусед — старичишко тут один жил, — караульщик заводской...

Ну, что дальше-то? Тюрьма... Суг. Да опять тюрьма. На восемь лет меня запечатали. Сижу, а сам все думаю: как они там без меня? Вспомню ребят босых, голодных, в рамках — сердце кровью зайдется.

Раз по весне пришла ко мне Анисья. Худая-худая, в чем душа держится. Стоит и глаз не подымает. Чую, беда...

Как, мол, вы? Что там?... Рассказала, что меньшая померла, одну девчонку в приют сиротский кое-как взяли, а братишки по миру пошли. Во, друг, как... И так-то мне тошно стало, надумал я руки на себя наложить. Дождал ночи, шнурок добыл. Привяжу, дуваю, за решетку...

Уснули все, с кем я сидел. А я не сплю. Духота в камере, параша воняет, стены эти проклятые давят, тяжело мне, слез нету. Страшно. Страшно, милой ты мой, в тюрьме. И не дай Бог никому в ей сидеть... За что, думаю, так? Молодость вся прошла в нужде да в поте, дальше просвету не видать. Лежу на нарах, жизнь свою проклятую вспоминаю.

Решился. И уж петлю сделал. Вдруг слышу, где-то птица поет. Подтянулся к решетке, там стекло выбито было. Слушаю. Соловей! Тюрьма-то в аккурат у кладбища. И поет он в кустах перед утром так жалостно, сладко, и ветром ночным в камеру пахнет.

Слушал я, слушал, пока руки не за-костенели. А потом отпустились, шнурок спрятал. Так мне жить захотелось!

Еще хоть раз на воле цигарку покурить, в поле выбраться... Нет, думаю, не поддамся! Не вся жизнь прожита. Может, увижу еще свет. И укрепился я с той ночи... А там война подошла, и революция, и гражданская. В Красную гвардию я ушел.

Ты вот спрашивал, почто я первейших соловьев на год не держу. Не хочу. Жалко мне их. Святая это птица. Истинно русская. Беречь ее надо...

Мы подходили к окраине. Город нежно голубел в дымке весеннего пара. Еще прозрачные тополя зеленели клейкими сережками и мелким листом. Сладкий запах молодой весны растекался в спокойном воздухе.

¹ Лучок — сеть на деревянных дужках.

² Обметная сеть — птицеводная снасть вроде мреши, которой обметывают кусты.